

«Не верьте, что у меня бледные ноги»

Александр Адабашьян не любит подхалимов и декадентов

Александр Адабашьян всю жизнь был идеальным партнером. В фильмах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», «Пять вечеров» — он сценарист в художник. В фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Родня» — художник. А в «Пяти вечерах», «Полетах во сне и наяву», «Собаке Баскервилей» он — актер.

Теперь Адабашьян один. Совсем один. И ему это нравится.

— Судя по «Рабе любви», вы, Александр Артемович, жуткий романтик?

— Романтизм предполагает совершенно необъективную любовь к чему-то и такое же принципиальное отторжение чего-то. Романтизм, он с вектором. Драматургия требует более медитативного подхода.

Романтика «Рабы любви» скорее ироничная, «Обломов» — более чеховский, чем гончаровский. А Чехов по натуре был довольно жесткий и жестокий (в первую очередь к себе).

«Попрыгунья», как вы знаете, — это история близкого друга Левитана и очень сложных его отношений с этой Кувшинниковой. Вы можете себе представить, что сейчас какой-то известный писатель публикует рассказ, где совершенно прозрачный намек на его близкого друга и его тяжелую историю с всем известной дамой? Безобразие с житейской точки зрения. И если его пьесы почитать так, как они написаны, — они жесто-

чайшие. «Три сестры» — история трех бессмысленных барышень, совершенно бессмысленных, которые со всеми своими романтическими разговорами о будущем, о грядущем переезде в Москву, который никогда не состоится, позволяют другим хозяйничать в своем доме, позволяют выжить себя из дома, не в состоянии защитить нянюшку, которую любят. И масса этих персонажей — тот же Гаев, проевший чужое состояние, та же Раневская, обворовывающая свою дочь (бабка-то деньги Варе прислала на покупку именина, а Раневская их забирает и уезжает с ними в Париж). А их играют чудными и ностальгическими.

Наверное, во многом беда этого поколения и последующих тоже — возьмите так называемых шестидесятников. — в инфантилизме. Очаровательный инфантилизм, который в нас воспитывали. Детская адаптированная литература, мультики, которые любят еще и в 20 лет. А во времена Пушкина дети Плутарха читали...

— Какое отношение все это имеет к кинематографу?

— Представьте себе 18-летнюю женщину потрясающей красоты, ума и обаяния, окруженную поклонниками. Телефон звонил непрерывно, к окну нельзя было подойти — толпа стояла. И вдруг она обнаруживает, что толпы нет, телефон молчит и самой нужно предпринимать какие-то усилия, чтоб тебя кто-то куда-то препроводил... Нужно платить за своих спутников в ре-

сторанах, хихикать, мазаться, наряжаться... А все дело в том, что ей уже не 18, а 60! И вот она ж клянет это проклятое время! Так это дело в ней, появились другие 18-летние.

То же с кинематографом. Он перестал занимать то место, которое занимал раньше. Достаточно было открыть дверь кинотеатра — и народ уже валил туда, а там уже разбирался, что будет смотреть. А теперь для того, чтобы их туда завлечь, нужно на ухах стоять...

— Вы сняли во Франции «Мадо». Сейчас опять что-то замышляете, и вновь там...

— Они другие. Я довольно долго жил там в 6-этажном доме на последнем этаже. Окна выходили на внутренний двор, такой колодец... Была дикая жара, и все окна были открыты. И то, что я там слышал по вечерам, что донослось из этих окон, какие вопли, мат, не то, что у нас непечатно, а что в определенном контексте чудовищно грубо, билась посуда, драки, какой стоял визг! А утром, когда я выходил, встречал чудных, милых, очаровательных людей, они раскланивались и улыбались. У них совершенно четко разделено: это — моя жизнь, остальное — мое функционирование вне... То, что происходит в моем доме, — только мое.

— А как же милые сердцу образы из литературы прошлого века: вспыхивый, легковозбудимый француз, любвеобильная, изысканная в

своей легкомысленности французенка?

— Да ничего общего с нынешними французами, уверяю вас! Во всех местах, во всех эrogenных зонах — калькуляторы. Чтобы на них воздвигать, нужно набирать максимальное количество цифр... Я думаю, на них сильно повлияла вторая мировая война и, в частности, поведение Франции в этой ситуации. Представьте себе грех мушкетеров, которые подписывают позорный контракт с нацистами: вы не трогайте наш замечательный Париж, а мы за это будем вылизывать вам все, что прикажете?! В Нормандии собирались ветераны — так нас нет, а есть французы... Сейчас так лихо всю историю перевернули, что вроде бы они и победители. Вся Франция — участница Сопротивления! И все целехонько, ничего не тронуто.

— Так почему вы все-таки снимаете там?

— Причина простая: они предлагают. Одно дело, когда ты выключил эту работу, хихикая в унижаясь перед спонсорами. Другое — когда тебя пригласили.

— Вы в жизни часто унижались?

— Нет, в принципе я никогда ни у кого ничего не просил.

— Лично я переживаю вашу ссору с Никитой Михалковым, потому что этот тандем ролил на свет столько шедевров...

— Видимо, у этого тандема детородный период кончился.

— А разве вы не считаете,

что любить человека надо со всеми его минусами?

— Дружба — взаимный процесс. Как у Грибоедова: служить и прислуживаться. Нуанс языковой, вроде бы небольшой. А разница колоссальная. Мне сейчас очень понравилось одному существовать. Совершенно одному, абсолютно ни от жого не зависящим. Тогда, условно говоря, мы занимались другим видом спорта — коллективным, играли в футбол. А когда начинается деление на основоположников и молодых — все кончается.

— Вы никогда не пробовали снять непрофессионалов, как это делает, допустим, Сокуров?

— Никогда не ставил задачу снять что-нибудь такое, чтоб только не смотреть.

— Почему так иронично?

— Активно не люблю. У меня все время такое ощущение, как Чехов говорил о декадентах: «Не верьте, что у них ноги бледные. Ноги у них нормальные и волосатые». То же самое: ощущение, что вся эта болезненность и странность Сокурова — при хорошем здоровье.

— А как вы относитесь к модному ныне Виктюку?

— Ой, в-е-е-т... Он тоже вроде Сокурова только другим местом берет. Я посмотрел «М. Баттерфляй» и «Служанки», и все, для себя решил — это все равно, что с японской кухней. Не могу я сырую рыбу. Раз сходил в японский ресторан, два... Не мое. Зачем

туда 5 раз ходить? Потом еще живот будет болеть.

— Александр Артемович, вы увлекающийся человек? У вас в жизни были безумные поступки?

— Довольно много было резких поступков. Сейчас поспокойней стал, уюмонился. Я человек женатый резкость ограничена.

— Вы оптимист?

— Фаталист. Хотя фатализм, наверное, высшая стадия оптимизма. Вот сейчас у меня пауза в работе — все французские проекты зависли. Из-за их постоянного ужаса прогореть. Ужас, в котором они всегда пребывают и поэтому прогорают. Существовать без малейшего риска невозможно. Ну как выиграть в казино, ставя каждый раз по франку? Не бывает такого. Возвращаясь к фатализму: я точно знаю — обязательно что-нибудь появится, что-нибудь предложат. Предложат — никуда не денутся. Другое дело, выбирать надо уметь. И еще нужно, чтобы у самого несколько идей в голове крутилось. Но написать какой-то сценарий, куда-то его отправить, умолять, чтоб почитали, слушать вранье... Ну нет.

Только не нужно суетиться, врать, что-то заваливать, с кем-то бороться. В результате все равно все будет по-моему, каким-то иным способом. Или не будет вообще. Не будет — значит, не будет, не очень-то и хотелось.

Гузель АГИШЕВА.
(Наш корр.)
Уфа.